





## Год “Радости”\*

Я сижу в кабинете, окруженный головами и телами. Моя поза сознательно копирует форму стула. Это холодная комната в здании администрации университета, с обитыми деревом стенами, картиной кисти Ремингтона и двойными стеклопакетами, отсекающими ноябрьское пекло. Комната надежно изолирована от звуков из приемной, где дядя Чарльз, мистер Делинт и я только что дожидались, пока нас примут.

И вот я внутри.

Напротив нас – три типа в летних пиджаках и галстуках, сидят за полированным сосновым конференц-столом, поймавшим блик аризонского полдня. Это деканы: приемной комиссии, учебного и спортивного отделений. Я не знаю, кто из них кто.

Надеюсь, я выгляжу сдержанно, возможно, даже дружелюбно. Меня учили, что сдержанность – мой лучший друг, и если я попытаюсь произвести впечатление, то будет только хуже.

Я пытаюсь скрестить ноги как можно аккуратнее, одна на другую, руки держу на коленях. Я сцепил пальцы в замок, они похожи на серию букв X.

Комната набита людьми: глава литературного отделения, тренер по теннису, проректор мистер О. Делинт, Ч.Т. рядом со мной, остальных, сидящих и стоящих, я вижу лишь краем глаза. Тренер по теннису звенит мелочью в карманах. Пахнет чем-то смутно съедобным. Рифленая подошва моего подаренного спонсором найковской кроссовки качается в такт мокасину сводного брата моей матери. Он – директор школы, в которой я учился; сидит, если я не ошибаюсь, справа от меня, напротив деканов.

Один из деканов – тот, что слева, – худощавый и желтолицый. Его застывшая улыбка напоминает едва различимый оттиск в плотном, непослушном материале. Он относится к тому типу людей, который я особенно ценю в последнее время, типу, который не требует от меня никаких ответов, излагая мою историю вместо меня, для меня.

Получив от похожего на лохматого льва центрального декана пачку распечаток, он говорит скорее со страницами, чем со мной, снисходительно улыбаясь.

– Ваше имя Гарольд Инкаденца, восемнадцать лет, примерно месяц назад вы окончили среднюю школу, учитесь в Энфилдской Теннисной Академии, Энфилд, штат Массачусетс, где и проживаете. – его прямоугольные очки похожи на два теннисных корта с разметкой снизу и сверху. – По словам тренера Уайта и декана [неразборчиво] вы хорошо зарекомендовали себя на региональном, национальном и континентальном уровне как молодой, подающий надежды теннисист, потенциальный член ОСАСУА\*\*; тренер Уайт решил взять вас в команду после пере-

\* Прим. пер. Glad («Радость») – название компании, производящей мешки для мусора.

\*\* Прим. пер. Организация северо-американской спортивной университетской ассоциации.

писки с доктором Тэвисом... в феврале этого года. Верхняя страница с шелестом перемещается в конец пачки. – Вы учились в Энфилдской Теннисной Академии с семи лет.

Справа на подбородке у меня жировик, он чешется, и я раздумываю, стоит ли сейчас прикоснуться к нему.

– Тренер Уайт сообщает, что, по его мнению, программа обучения Энфилдской Теннисной Академии заслуживает всяческого уважения и что команда Университета Аризоны добилась больших успехов благодаря новым членам команды – выпускникам ЭТА, один из которых, мистер Обри Ф. Делинт, пришел с вами. Тренер Уайт и его команда убедили нас...

Речь желтого декана наполнена канцеляритом, но я вполне его понимаю. У главы литкафедры явный перебор с бровями. Правый декан как-то странно разглядывает мое лицо.

Дядя Чарльз говорит, что хотя его присутствие, возможно, выглядит, как попытка давления на совет, он хотел бы заверить приемную комиссию, что в Энфилдской Теннисной Академии в данный момент обучаются десять из тридцати лучших теннисистов-юниоров. Правый и центральный деканы вежливо улыбаются; Делинт и тренер кивают, левый декан прочищает горло:

– ... поверить, что вы уже на первом курсе сможете помочь университетской команде добиться больших успехов. Мы очень рады, – он то ли говорит, то ли читает, не глядя на страницу, – возможности пообщаться с вами и обсудить ваше заявление на предоставление стипендии и поступление.

– Меня просили добавить, что Хэл был посеян третьим в разряде одиночек, до 18 лет, на престижном турнире «Что-за-бургер» Юго-западного отделения юниоров, в Рендольфском Теннисном Центре, – говорит, как мне кажется, глава кафедры спорта. Он склонил голову набок, я вижу его конопатый скальп. – В Рендольф Парке – рядом со знаменитым комплексом El Con Marriott, – вставляет Ч.Т., – среди спортсменов эта площадка считается самой продвинутой из всех, и еще...

– Именно так, Чак. И, по словам Чака, Хэл уже прошел квалификацию, он достиг полуфинала, после того, как сегодня утром одержал впечатляющую победу и, кроме того, ему предстоит игра с победителем сегодняшнего четвертьфинала. Игра назначена на 8:30, если не ошибаюсь...

– Постарайся разобраться с ним до того, как солнце начнет жарить. Хотя, конечно, воздух в этих краях сухой.

– ...и, вероятно, уже прошел квалификацию для зимнего Континентального турнира в закрытых помещениях в Эдмонтоне, как говорит мне Кирк... – еще сильнее задрав голову вверх и влево, чтобы взглянуть на тренера, чья белозубая улыбка буквально сияет на фоне солнечных ожогов на лице. – А это действительно очень впечатляет. – он улыбается, смотрит на меня. – Все правильно, Хэл? Мы нигде не ошиблись?

Ч.Т. расслабленно скрестил руки; его трицепсы покрыты россыпью солнечных бликов.

– Все так. Билл. – он улыбается. Его усы всегда выглядят как-то криво. – И я вам даже больше скажу: Хэл очень вдохновлен, вдохновлен тем, что опять попал

на Турнир, попал в общество, которое всегда привлекало его, вдохновлен встречей с выпускниками университета и тренерским составом, а так же тем, что уже оправдал столь высокий посев при довольно не-мягкой конкуренции, тем, что до сих пор остается в игре, и, как говорится, его песенка еще не спета. Но, разумеется, больше всего он вдохновлен этим шансом, шансом встретиться с вами, джентльмены, и взглянуть на здешние условия. Все, что он видел здесь, на высшем уровне.

Повисла тишина.

Делинт стоит, опершись спиной о стену, привалившись к ней. Мой дядя радостно улыбается и поправляет ремешок от часов. 62,5% лиц в комнате смотрят на меня в приятном предвкушении. Сердце мое стучит в груди, как стиральная машина в режиме отжима с ботинками внутри. Я пытаюсь изобразить на лице то, что, как мне кажется, люди примут за улыбку. Я поворачиваюсь туда-сюда, совсем чуть-чуть, словно стараясь сделать так, чтобы каждый увидел, что я доволен.

И снова тишина. Брови желтого декана изгибаются в параболу. Два других декана смотрят на главу литературного отделения. Тренер сделал шаг к широкому окну, поглаживает короткостриженный затылок. Дядя Чарльз гладит руку чуть выше ремешка от часов. Кривые тени ладоней двигаются по поверхности соснового стола, тень одной из голов похожа на черную луну.

– Эй, Чак, с Хэлом все в порядке? – спрашивает декан спортивного отделения. – Он выглядит... в смысле, его лицо. Ему больно? Тебе больно, сынок?

– Хэл здоров как бык, – дядя улыбается и непринужденно отмахивается от слов деканов. – Просто у него чуть-чуть... скажем так, «лицевой тик», совсем небольшой, от всего этого адреналина, ведь он находится здесь, в вашем кампусе, сегодня выиграл матч, не отдав ни одного сета, и получил официальное письмо от тренера Уайта с предложением стипендии в Университете, который входит в группу Пацифик-10, и он готов прямо здесь и сейчас подписать договор об участии в национальных спортивных состязаниях.

Ч.Т. смотрит на меня, и взгляд у него какой-то пугающе добрый. Я расслабляю все мимические мышцы, стараясь стереть с лица всякое выражение. Я внимательно разглядываю кекулеанский\* узел галстука декана. Мой беззвучный ответ (или, вернее, его отсутствие) каким-то образом влияет на воздух в комнате, в нем плавают, вращаются пылинки, разгоняемые кондиционером, они танцуют в солнечных лучах, падающих наискосок, воздух над столом, как искрящееся пространство над только что налитой сельтерской.

Тренер, – у него легкий акцент, не британский и не австралийский, – говорит Ч.Т., что собеседование (пускай обычно это лишь приятная формальность) должно проходить в формате диалога с непосредственным абитуриентом. Два декана – справа и посередине – склонились друг к другу, тихо обсуждают что-то, их тела образовали нечто вроде вигвама из кожи и волос.

Полагаю, тренер просто перепутал порядок слов, он сказал «с непосредственным абитуриентом», как будто имел в виду, что я то ли «живу не по средствам», то ли не должен быть «посредственностью». Хотя на самом деле он, конечно, хотел

\* Прим. пер. Отсылка Уоллеса к немецкому ученому-биологу Августу Кекуле, открывшему кольцевую структуру бензольного кольца.

сказать: «непосредственно с абитуриентом».

Декан с плоским желтым лицом подался вперед, втянул губы, изображая тревогу. Он сводит ладони вместе над поверхностью стола. Я расцепляю свои пальцы, сложенные в замок, похожие на четыре буквы X, и крепко хватаюсь за края стула.

– Нам нужно откровенно поговорить о потенциальных проблемах, связанных с твоим поступлением, – начинает говорить он. Он говорит об откровенности и ее значении.

– У нас есть кое-какие проблемы с вашими бумагами, Хэл, они касаются результатов тестов». Он смотрит вниз, на цветную таблицу тестов в траншее, образованной его руками. «Приемная комиссия ознакомилась с результатами тестов, которые, – что, уверен, вы сами знаете и сможете объяснить, – которые, скажем так... ниже нормы».

От меня ждут объяснений.

Очевидно, что этот приятный, искренний желтый декан слева и есть глава приемной комиссии. И, несомненно, эта маленькая птичья фигурка справа, стало быть, декан спортивного отделения, потому что лицевые мышцы гривастого декана посередине сморщились в нечто отдаленно похожее на выражение обиды, его взгляд как бы говорит “Я-ем-нечто-такое,-что-чрезвычайно-рад,-что-мне-есть-чем-запить”.

Стало быть, Верность Стандартам сидит в центре. Мой дядя смотрит на декана спортивного отделения, он словно бы сбит с толку, слегка ерзает в кресле. Несоответствие между цветом рук и цветом лица у главы приемной комиссии выглядит немного дико.

– ...результат устных экзаменов немного ближе к нулю, чем мы привыкли видеть у абитуриентов, особенно по сравнению с академсправкой из школы, в которой твоя мать и ее брат занимали высокие должности, – читает прямо с листа, обрамленного руками, – за последний год результаты немного снизились, и это снижение по сравнению с тремя предыдущими годами выглядит просто невероятно.

– Несравнимо.

– В большинстве школ никогда не ставят оценок с несколькими плюсами, – говорит глава литературного отделения, по выражению его лица невозможно определить, о чем он думает.

– Такое... как бы это сказать... несоответствие, – говорит глава приемной комиссии, его лицо выражает откровенность и обеспокоенность, – должен признаться, служит своего рода тревожным сигналом при рассмотрении вашей кандидатуры на поступление.

– Тем самым мы просим вас объяснить это несоответствие, если не сказать мошенничество. – У Учебной Части голос тонкий, словно пар, выходящий из мелкого отверстия в трубе. Звучит абсурдно, учитывая огромный размер его головы.

– Конечно, под «невероятными» вы имели в виду очень-очень-очень впечатляющие, а не буквально «невероятные», конечно, – говорит Ч.Т., глядя, кажется, на тренера, который стоит возле окна и массирует шею. Из окна ничего не разглядеть, кроме слепящего света и жаркого марева над покрытой трещинами землей.

– Кроме того, вы предоставили нам не две, как положено, а целых девять отдельных вступительных работ, некоторые из них размером с монографию, и все

без исключения... – новый лист, – оценены разными рецензентами как «блистательные»...

Глава лит. отделения:

– В своей оценке я намеренно использовал слова «лапидарный» и «беспомощный».

– ... но и в областях с заголовками, – я уверен, вы помните довольно хорошо, Хэл: «*Неоклассические допущения в нормативной грамматике*», «*Подтекст трансформаций в голографически-подражательном кинематографе после Фурье*», «*Возникновение героического стазиса в развлекательных программах*»...

– «*Грамматика Монтегю и семантика физической модальности*»?

– «*Человек, который начал подозревать, что он сделан из стекла*»?

– «*Третичный символизм в юстинианской эротике*»?

Обнажая дряблые десны.

– Достаточно сказать, что мы искренне озабочены вопросом, что ученик, чьи результаты тестов были весьма посредственны, хотя, возможно, и объяснимы, является единственным автором данных работ.

– Я не уверен, что Хэл понимает, на что вы намекаете, – говорит мой дядя. Декан в центре трогает лацканы пиджака, пока разглядывает удручающие данные на распечатках.

– Мы пытаемся сказать, что с академической точки зрения тут есть проблемы с поступлением, и Хэл должен помочь нам разобраться в них. В первую очередь абитуриент – это будущий студент. Мы не можем принять студента, если есть основания полагать, что у него котелок не варит, – и его успехи на поле совершенно не важны.

– Декан Соьер, конечно, имеет в виду корт, – говорит глава спортивного отделения, вывернув голову так, чтобы одновременно обращаться еще и к Уайту, стоящему позади. – Не говоря уже о правилах ОСАСУА. Их следователи всегда разнюхивают в поисках хотя бы малейшего намека на жульничество.

Университетский тренер по теннису смотрит на часы.

– Если предположить, что эти оценки полностью отражают истинные способности абитуриента, – говорит Учебное Отделение, все еще глядя на документы так, словно перед ним тарелка с чем-то несъедобным, голос у него тихий и серьезный, – я тебе так скажу: на мой взгляд, это будет нечестно. Нечестно по отношению к другим претендентам. Нечестно по отношению к университетскому сообществу. – он смотрит на меня. – И особенно нечестно по отношению к Хэлу. Принять юношу, отталкиваясь только лишь от его спортивных достижений, – значит, использовать его. Нас постоянно проверяют, чтобы убедиться, что мы никого не используем. Твоя академ-справка из школы, сынок, говорит о том, что нас могут уличить в нечистоплотности.

Дядя Чарльз просит тренера Уайта спросить Спортивное Отделение, возникли бы у них проблемы с моими результатами, если бы я, скажем, был привлекательным для спонсоров гениальным футболистом. Я чувствую знакомую панику – во мне растет ощущение, что меня могут неправильно понять, в груди все грохочет. Я прикладываю все усилия для того, чтобы беззвучно сидеть на стуле, опустошенный, мои глаза – два огромных бледных нуля. Они обещали помочь мне через все пройти.

У дяди подавленный вид, словно его загнали в угол. Когда он загнан в угол, его голос звучит очень странно, как крик, который вот-вот сойдет на нет.

– Оценки Хэла в ЭТА – и здесь я должен сделать акцент на то, что это Академия, а не лагерь или фабрика какая-нибудь, именно Академия, аккредитованная штатом Массачусетс и Северо-Американской Ассоциацией Спортивных Академий, ее цель – воспитывать игроков и студентов, она основана большим интеллектуалом, чье имя, я думаю, вам не нужно напоминать, на строгой Оксбриджской модели внеклассного обучения Quadrivium-Trivium, школа снабжена всем нужным оборудованием и снаряжением и укомплектована сертифицированным персоналом; все это, мне кажется, должно показать, что котелок у моего племянника отлично варит, так варит, что может переварить любые ваши тесты...

Делинт делает шаг в сторону тренера по теннису, но тот качает головой.

– ...он почувствует во всем этом отчетливый привкус спортивной предвзятости, – говорит Ч.Т., закидывая сначала левую ногу на правую, потом – правую на левую, пока я слушаю, невозмутимо и внимательно.

Комната, как газом, наполняется враждебной тишиной.

– Мне кажется, сейчас самое время дать слово абитуриенту, пусть скажет, что он думает. – Говорит глава учебного отделения очень тихо.

– Это, кажется, невозможно, пока вы здесь, сэр. – Спортивное отделение устало улыбается из-под ладони, массирующей его переносицу. – Может, ты извинишь нас на секунду и подождешь за дверью, Чак?

– Тренер Уайт мог бы проводить мистера Тэвиса и его помощника в приемную, – говорит желтый декан, улыбаясь.

– Все выглядит так, словно вы уже решили заранее, учитывая... – говорит Ч.Т., пока его и Делинта ведут к двери.

Тренер по теннису поднимает гипертрофированную руку. Спортивное Отделение говорит: – Мы все здесь друзья и коллеги.

Это не работает. Мне вдруг приходит в голову, что знак EXIT для человека, родным языком которого является латынь, выглядел бы как подсвеченная красным надпись «ОН УХОДИТ».

Я бы подчинился позыву рвануть к двери и захлопнуть ее у них перед носом, если бы был уверен, что этот жест будет понят правильно. Делинт шепчет что-то тренеру по теннису. Звуки клавиатур и телефонных консолей доносятся из открытой двери, и тут же замолкают, когда дверь закрывается. Я один, окруженный административными головами.

– ...не хотели никого оскорбить, – говорит Спортивное Отделение, на нем желто-коричневый летний пиджак и галстук в мелких завитушках, – речь здесь идет не только о физических способностях, которые, поверь мне, мы уважаем.

– ...вопрос был в этом, мы бы не были так обеспокоены желанием поговорить именно с тобой, понимаешь?

– ...мы узнали в процессе обработки нескольких заявок, прошедших через офис тренера Уайта, что школа Энфилда находится под управлением, пусть и весьма эффективным, во-первых, вашего брата, которого, как я до сих пор помню, обхаживал предшественник Уайта, Мори Кламкин; поэтому объективность ваших оценок в данном случае очень легко подвергнуть сомнению...

– ...сомнения могут возникнуть у кого угодно – у СААУП\*, у зловердных программ Пацифик 10, ОСАСУА...

Эти работы старые, да, но они мои; *de moi*. Но они старые, да, и не совсем соответствуют стандартам вступительных работ в стиле «Самое Важное, Что Мне Дало Образование». Если бы я сдал прошлогоднюю работу, вы бы решили, что это просто бессмысленный набор букв, словно какой-то ребенок в произвольном порядке долбил по клавишам клавиатуры – и вы особенно, сами интеллектом детей не превосходящие. И в этой новой, более компактной компании глава литературного отделения начинает проявлять свою альфа-самцовость, хотя и выглядит при этом гораздо более женственно, стоя, выставив бедро, уперев в него руку, а при ходьбе поводя плечами, мелочь звенит в его карманах, когда он подтягивает штаны и садится в кресло, все еще нагретое задом Ч.Т., закидывает ногу на ногу так, что вторгается в мое личное пространство; я вижу брови, дергающиеся в нервном тике, и сетку капилляров под глазами; чувствую запах кондиционера для белья и еще кислый запах изо рта сквозь легкий, уже исчезающий аромат мятной жвачки.

– ... умный, толковый, но очень стеснительный мальчик, мы знаем, что ты очень стеснительный, Кирк Уайт передал нам о том, что рассказал ему твой атлетически сложенный, хотя и немного чопорный инструктор, – мягко говорит он; я чувствую, как он кладет, кажется, руку на бицепс моего пиджака (хотя этого не может быть), – ты просто должен собраться с силами и рассказать свою версию истории этим джентльменам, которые отнюдь не замышляют ничего зловещего и просто делают свою работу, пытаются соблюсти интересы всех сторон.

Я представляю себе Делинта и Уайта, сидящего в фойе, уперев локти в колени, словно чтобы испражниться, – поза всех спортсменов, выбывших из игры; Делинт пялится на свои огромные большие пальцы на ногах, пока Ч.Т. меряет приемную шагами, вычерчивая узкий эллипс и разговаривая по мобильнику. Меня готовили так же, как Дона Корлеоне к заседанию Комиссии по борьбе с организованной преступностью. Снова повисла нейтральная, лишенная эмоций тишина. Вроде игры от обороны, которой меня научил Штитт: “лучший защита: пусть все само отскакивает: ничего не делайт”.

Я бы рассказал вам все, что вы хотите услышать, и даже больше, если бы то, что я говорю, было равно тому, что вы услышите.

Спортивное Отделение словно бы высунул голову из-под крыла:

– ...чтобы это не выглядело так, словно мы взяли тебя только из-за твоих спортивных успехов. Это может дорого нам обойтись, сынок.

– Билл имеет в виду то, как это будет выглядеть со стороны, а вовсе не реальное положение вещей, – говорит глава литературного отделения.

– ... спортивные достижения наряду с очень плохими результатами тестов, слишком заумными вступительными сочинениями и потрясающими школьными оценками будут выглядеть так, словно тут не обошлось без семейного блата.

Желтый декан так сильно наклонился вперед, что на его галстук теперь точно появится горизонтальная вмятина от края стола; лицо его болезненно-доброе, на нем серьезное-«без дураков»-выражение:

\* Прим. пер. Северо-Американская Ассоциация Университетских профессоров.

– Ну-ка послушайте, мистер Инканденца, Хэл, пожалуйста, просто объясни мне, сынок, почему конкретно нас не обвинят, что мы тебя используем. Почему завтра никто не придет и не скажет: “О, слушайте, Университет Аризоны, а вы же тут используете паренька, такого робкого и застенчивого, что он и слова не скажет, качка с оценками доктора наук и купленной вступительной работой”.

Свет, отразившись от поверхности стола под углом Брюстера, розой расцветает на внутренней стороне моих век. Я не могу сделать так, чтобы меня поняли.

– Я не качок, – говорю я медленно. Отчетливо. – Возможно, в моем аттестате за последний год есть небольшие исправления, возможно, но это было сделано, чтобы помочь мне в трудную минуту. Все остальные оценки de moi, честно. – мои глаза закрыты; в комнате тихо. – Я не могу сделать так, чтобы меня поняли. Я говорю медленно и отчетливо. – давайте скажем, что сегодня я съел что-то не то.

Забавно: одни события ты помнишь, другие – нет. Наш первый дом, в пригороде Уэстона, который я едва ли помню, мой старший брат, Орин, говорит, что помнит, как ранней весной был там на заднем дворе, помогал маме в саду. Март или начало апреля. Огород представлял собой неровный прямоугольник с границами в виде палочек эскимо, воткнутых в землю по углам, и бельевой веревки, протянутой между ними по периметру. Орин убирал камни и комья земли с пути у мамы, которая управляла арендованным ручным культиватором; культиватор был похож на тележку, работал на бензине, ревел, чихал, брыкался, и Орин помнит, что казалось, словно культиватор управляет мамой, а не наоборот; мама очень высокая, и ей приходилось наклоняться до боли в спине, чтобы сдерживать эту штуковину, ноги оставляли неровные, словно пьяные отпечатки на вспаханной земле. Он помнит, как я весь в слезах-соплях вышел из дома во двор, на мне была какая-то красная ворсистая кофта с Винни Пухом, я рыдал и нес в протянутой ладони нечто, что, как сказал мой брат, выглядело очень неприятно. Он говорит, было мне было где-то пять, и я рыдал и был ярко-красный в этом холодном весеннем воздухе. Я повторял что-то снова и снова; он не мог разобрать, пока мать не увидела меня и не вырубил культиватор (в ушах звенело); и подошла, чтоб посмотреть, что это у меня в руке. Оказалось, огромный клочок плесени – как предполагает Орин, откуда-то из темного угла в подвале нашего дома в Уэстоне, ведь там всегда было тепло из-за печи, и каждую весну подвал затапливало. Сам по себе этот клочок Орин описывает как нечто чудовищное: темно-зеленое, глянцевое, странно-волосатое, испещренное желтыми, оранжевыми и красными точками грибковых колоний.

И даже хуже: было очевидно, что этот кусок выглядит странно не-целым, надкусанным; и немного этой тошнотворной дряни было размазано у меня вокруг рта. «Я это съел», – вот что я повторял. Я протянул плесень маме; она была без линз (всегда снимала их перед тем, как взяться за грязную работу), и поначалу, склоняясь надо мной, видела лишь своего плачущего ребенка, держащего что-то в руке: и в самом материнском из всех рефлексов она, больше всего на свете боявшаяся грязи, потянулась, чтобы взять то, что ей протягивало ее дитя – как делала всегда, когда забирала у меня использованную салфетку, выплюнутую конфету, пережеванную жвачку (сколько их было?) в театре, в аэропорту, на заднем сиденье машины, в спортивном зале.

О. стоял там, говорит он, взвешивая в руке холодный ком земли, игрался с липучкой на куртке-ветровке, смотрел, как мама наклоняется ко мне, дальнозорко щурясь, внезапно останавливается, замирает, пытаюсь идентифицировать то, что я держу, оценивая признаки орального контакта с этой штукой. Он помнит ее лицо. Ее протянутую руку, все еще дрожащую после культиватора.

– Я это съел, – сказал я.

– Что, прости?

О. говорит, что помнит лишь (sic!), как сказал что-то язвительное, откидываясь назад, хрустя позвонками. Он говорит, что, должно быть, чувствовал надвигающееся чудовищное беспокойство. Мама никогда не спускалась в сырой подвал. Я перестал рыдать и просто стоял, напоминая пожарный гидрант, в красной пижаме с пристяжными подштанниками, держал в руке плесень, с серьезным лицом, словно делал доклад или проводил аудит.

О. говорит, в этой точке его память раздваивается; виной тому, возможно, сильное волнение. В первой версии мама бежит по заднему двору, описывая широкий истерический круг. «Господи!» – кричит она.

«Помогите! Мой сын это ел», – орет она во второй и более четкой версии воспоминания Орина, снова и снова, с пятнистым клочком плесени над головой в горсти, бежит вдоль прямоугольника сада, пока О. наблюдает за первым в своей жизни случаем взрослой истерики. Головы соседей появляются в окнах и над заборами, смотрят. О. помнит, как я побежал за мамой, но споткнулся о веревку, обозначающую границы огорода, упал, испачкался.

«Господи! Помогите! Мой сын это ел! Помогите!» – продолжала вопить она, бежит по границе узкого прямоугольника сада, вдоль веревки; Орин помнит, что, даже несмотря на истерику, мама бегала ровно вдоль границы и оставляла очень ровные следы, и, добежав до угла внутри прямоугольной идеограммы, она поворачивала четко и мгновенно; и пока она бегала по кругу (точнее – по прямоугольнику) и кричала «Мой сын это ел! Помогите!», она дважды переступила через меня. На этом воспоминание Орина обрывается.

– Мои вступительные работы не куплены, – говорю я им, мои глаза закрыты, я вижу красную темноту. – Я не просто мальчишка, который играет в теннис. У меня запутанная история. У меня есть опыт и чувства. Я глубокий. Я много читаю, – говорю я. – Учусь и читаю. Готов поспорить, что прочитал все то, что прочли вы. Можете мне поверить. Я потребляю целые библиотеки. Я читаю так, что у книг изнашиваются корешки. Я учусь так, что компакт-диски приходят в негодность. Я делаю странные вещи: я могу сесть в такси и сказать: «В библиотеку, и поднажми!» Мои инстинкты, связанные с синтаксисом и механикой слов, гораздо острее, чем ваши, при всем уважении.

Но это выходит за рамки механики. Я не машина. Я чувствую и верю. У меня есть своя точка зрения. Иногда весьма интересная. Я мог бы, если бы вы мне позволили, говорить без умолку. Давайте говорить о чем угодно. Я думаю, что влияние Кьеркегора на творчество Камю недооценивают. Я думаю, Денеш Габор вполне мог быть Антихристом. Я верю, что Гоббс – лишь отражение Руссо в темном зеркале. Я, как и Гегель, верю, что превосходство – это поглощение.

Вы все для меня – открытая книга, – говорю я. – Я не какой-то там гомункулус, собранный, настроенный и выращенный лишь для того, чтобы выполнять всего одну функцию.

Я открываю глаза. «Пожалуйста, не думайте, что мне все равно».

Я осматриваюсь. На меня глядят с ужасом. Я поднимаюсь с кресла. Я вижу отвисшие челюсти, вскинутые брови на дрожащих лбах, бледные щеки.

Стул подо мной качается.

– Мать божья! – говорит директор.

– Все нормально, – говорю я им, вставая. Желтый декан смотрит на меня щуясь, словно в лицо ему дует мощнейший ветер. Лицо Учебного Отделения выглядит так, словно он вдруг за секунду состарился. На меня уставились восемь глаз, в них – пустота.

– Господи Боже, – шепчет Спортивное Отделение.

– Пожалуйста, не беспокойтесь, я все объясню, – говорю я, махнув рукой.

Глава литотделения заламывает мне руки сзади и валит на пол, давит всем своим весом.

Я чувствую вкус пола.

– Что происходит?

– Ничего не происходит, – говорю я.

– Все хорошо! Я здесь, – кричит мне прямо в ухо глава литотделения.

– Позовите на помощь! – вопит декан.

Мой лоб вжали в паркет, я и не думал, что он такой холодный. Я обездвижен и стараюсь не оказывать сопротивления.

Мое лицо расплющено об пол; мне сложно дышать, литотделение давит на меня всем своим весом.

– Просто выслушайте меня, – говорю я очень медленно и с большим трудом, слова мои неразборчивы из-за того, что ртом меня прижали к полу.

– Во имя Господа, – пронзительно кричит один из деканов, – ...за звуки?

Щелчки кнопок на телефонной консоли, топот каблучков по полу, шелест падающей бумаги.

– Господи!

– На помощь!

Слева, на периферии зрения, открывается дверь: пучок галогенового света из приемной, белые кроссовки и потертые туфли «Nunn Bush».

– Отпустите его! – это Делинт.

– Все в порядке, – я говорю в пол, медленно. – Я здесь.

Меня берут под руки, поднимают и трясут за плечи, чтобы привести в чувство.

– Соберись, сынок! – Говорит глава литотделения. Лицо у него багровое.

Делинт виснет на его огромной руке:

– Прекратите!

– Я – не то, что вы видите и слышите.

Вдалеке сирены. Жесткий полунельсон. Какие-то документы на полу у двери. Молодая женщина-латина прижала ладонь ко рту, смотрит.

– Нет, – говорю я.

Как могут не нравиться старомодные мужские туалеты: цитрусовые диски-освежители в длинном фарфоровом писсуаре; кабинки с деревянными дверями, отделенные друг от друга холодным мрамором; ряды раковин, и хрупкие, кривые алфавиты труб под ними; зеркала над металлическими шкафчиками; и за всеми голосами едва различимая капель, усиленная эхом мокрого фарфора и холодного мозаичного кафеля на полу, вблизи похожего на какой-то исламский узор.

Я вызвал сильный переполох, вокруг все мельтешит. Глава литотделения все еще заламывает мне руки и почти тащит сквозь толпу клерков, похоже, ему кажется, что у меня припадок (он открыл мне рот – проверить, не подавился ли языком), что я задыхаюсь (я закашлялся от приема Геймлиха), что у меня психоз и я потерял контроль над собой (серия захватов, цель которых – получить надо мной контроль), – пока Делинт ворчит, усмиряя главу литотделения, усмиряющего меня, пока тренер по теннису усмиряет Делинта; сводный брат моей матери не говорит, а словно бы стреляет комбинациями множественных слогов в трио деканов, которые ловят ртом воздух, машут руками, оттягивают галстуки и тычут пальцами в лицо Ч.Т., и в то же время размахивают стопками вступительных документов, в которых сейчас уже очевидно нет смысла.

Меня перевернули на спину на геометрической плитке. Я мирно размышляю над вопросом: почему в США туалет всегда кажется чем-то вроде изолятора, где люди могут справиться с волнением и восстановить контроль над ситуацией. Моя голова лежит на коленях у главы литотделения (они довольно мягкие), из толпы ему протянули пачку грязно-серых бумажных полотенец и он вытирает мое лицо; я смотрю на него равнодушно и вижу оспины на его скуле, их еще больше в нижней части челюсти, они похожи на старые зарубцевавшиеся акне.

Дядя Чарльз (ему нет равных в разгребании дерьма) продолжает обстреливать людей словами, стараясь успокоить окружающих; ведь, судя по их лицам, они нуждаются в успокоении гораздо сильнее меня.

– Он в порядке, – твердит дядя. – Посмотрите на него, спокоен, как удав, лежит тут, отдыхает.

– Вы не видели, что там случилось, – отвечает один из деканов, он сгорбился, смотрит на все это сквозь сетку растопыренных пальцев.

– Он просто взволнован, такое бывает иногда, впечатлительный мальчик...

– Но он издавал такие звуки.

– Неопишимо.

– Как животное.

– Какие-то полуживотные шумы.

– И еще эти движения.

– Вы не думали, что ему нужна помощь, доктор Тэвис?

– Как животное, у которого что-то застряло в глотке.

– У мальчишки проблемы с головой.

– Словно удар молотком по пачке масла.

– Метущийся зверь с ножом в глазу.

– И о чем вы вообще хотели, зачислить такого...

– И его руки.

– Вы этого не видели, Тэвис. Его руки...

– Дергались. Тряслись. Словно он чокнутый барабанщик.

Все они оглянулись на кого-то вне моего поля зрения; он пытался изобразить «чокнутого барабанщика».

– Словно покадровая съемка, трепет чего-то ужасного... и нарастающего.

– Похоже на тонущую козу. Козу, тонущую в чем-то липком и вязком.

– Придушенное бляенье...

– Да, руки тряслись.

– И что ж теперь, трясущиеся руки – это уже преступление?

– У вас серьезные проблемы, мистер. Серьезные проблемы.

– Его лицо. Словно его душили. Или сжигали. Мне кажется, я видел образ ада.

– У него есть проблемы с общением. Он немного аутист, никто этого не отрицает.

– Мальчику нужен медицинский уход.

– И вместо того, чтобы лечить, вы посылаете его сюда, поступать в Академию и участвовать в соревнованиях?

– Хэл?

– Даже самый страшный кошмар – ерунда по сравнению с теми проблемами, что вас ожидают, господин так-называемый-директор...

– ... нам дали понять, что это все – лишь формальность. Вы застали его врасплох, и все. Он стеснительный...

– И вы, Уайт. Хотели заполучить его в команду!

– ... и ужасно впечатлен и взволнован оттого, что находится здесь без нас, без поддержки, ведь вы попросили нас выйти, а это, если позволите...

– Я лишь видел, как он играет. На корте он невероятен. Возможно, он гений. Мы и понятия не имели. Его брат играет в гребаной НФЛ, во имя всего святого! Вот лучший игрок с юго-западными корнями, думали мы. Его статистика была выше всяких похвал. Мы наблюдали за ним на протяжении всего турнира прошлой осенью. Никаких припадков или криков. Мой друг сказал, что его игра похожа на балет.

– И правильно сказал, черт возьми! Это и есть балет, Уайт. Этот пацан – балерун от спорта.

– Он, стало быть, что-то вроде спортивного вундеркинда. Выдающиеся балетные данные компенсируют те проблемы, которые вы, сэр, хотели от нас скрыть, заставив мальчишку молчать.

Слева появляется пара дорогих эспадрильи и входит в кабинку, эспадрильи разворачиваются и смотрят носками на меня. За легким эхом голосов шепчет вода в писсуарах.

– ...жет, нам уже пора, – говорит Ч.Т.

– Сэр, цельность моего сна нарушена впредь и навсегда.

– ... думали, вам удастся протолкнуть недееспособного абитуриента, сфабриковать аттестат и вступительные работы, протащить его сквозь эту пародию на собеседование и втолкнуть в суровую студенческую жизнь?

– Хэл вполне здоров, придурок. Просто не надо на него давить. Он чувствует себя нормально, когда сам по себе. Да, у него есть некоторые проблемы с возбудимостью во время разговора. Разве он это отрицал?

– То, что мы наблюдали, очень отдаленно напоминает поведение млекопитающего.

– Ну просто обалдеть. Посмотрите. Как там поживает этот наш легко возбудимый паренек, а, Обри?

– Вы, сэр, скорее всего, больны. Это дело нельзя просто так замять.

– Какая скорая? Вы что, ребят, вообще меня не слушаете? Я ж вам говорю, это...

– Хэл? Хэл?

– Чем-то накачали, желали говорить от его лица, заткнули, а теперь он лежит тут, оцепеневший, с застывшим взглядом.

Хруст коленок Делинта.

– Хэл?

– ...раздуть из этого историю, исказить факты. У Академии есть отличные адвокаты, выпускники. Они докажут, что Хэл вполне дееспособен. Все бумажки по высшему разряду. Мальчишка поглощает информацию из книг, как пылесос. Впитывает данные.

Я просто лежу, слушаю, чувствую запах бумажного полотенца и наблюдаю, как эспадрильи развернулись и вышли из кабинки.

– Возможно, вы не в курсе, но жизнь – это не только собеседования.

И кто же не любит этот особенный львиный рев общественного туалета?

\*\*\*\*\*

Неспроста Орин говорил, что в этих краях люди живут перебежками от одного кондиционера к другому.

Солнце как молот. Я чувствую: половина лица начинает запекаться. Небо лоснящееся и словно жирное от жары, перистые облака, тонкие и ровные, как волосы, схваченные ободком.

Плотность движения здесь совсем не как в Бостоне. Носилки особые, с ремнями, чтобы пристегнуть мои конечности потуже. Тот самый Обри Делинт, которого я избегал годами из-за его приверженности к строгой дисциплине, встает на колени рядом с моей каталкой, сжимает мою руку и говорит «Просто держись там, Букару», и возвращается назад, в эпицентр скандала, разразившегося возле кареты скорой помощи. Это особая скорая помощь, ее прислали из такого места, о котором даже думать не хочется, в команде здесь не только санитары, но и настоящий доктор, психиатр.

Санитары осторожно поднимают меня, умело обращаются с ремнями. Доктор прислонился спиной к скорой, подняв руки, выступая бесстрастным посредником между деканами и Ч.Т., который протыкает небо антенной своего мобильного так, словно это сабля, возмущенный, что меня без всякой необходимости и против воли хотят поместить в отделение экстренной медицинской помощи. Вопрос, имеет ли вообще недееспособный человек свою волю и желания, остался незамечен, как и сверхзвуковой истребитель, который поднялся слишком высоко, и никто не видит, как он режет небо с юга на север. Руки доктора все еще подняты, он как бы похлопывает воздух, выражая нейтральность. У него большой небритый подбородок. До этого я только один раз был в больничной палате, почти ровно год

назад, мои носилки тогда вкатили внутрь и поставили рядом с креслами в приемной. Кресла были отлиты из оранжевого пластика; три из них заняты разными людьми, и каждый из этих людей держал в руках пустую баночку для лекарств и обильно потел. И словно этого мало, в последнем кресле, прямо рядом с моей зафиксированной ремнем головой, сидела женщина в футболке, кепке дальнобойщика, с кожей цвета старой, обветренной древесины; она начала рассказывать мне, пристегнутому и неподвижному, о том, что за одну ночь заработала внезапный аномальный гигантизм правой груди, которую сама называла «тителькой»; она говорила с почти пародийным квебекским акцентом, описывала свою «тительку», свою историю болезни и возможные диагнозы на протяжении двадцати минут, пока меня, наконец, не увезли оттуда.

Движение самолета и его след разрезоподобны, белое мясо за синевой обнажено и расширялось в кильватере лезвия-самолета. Однажды я видел слово НОЖ, написанное пальцем на запотевшем зеркале в ванной. Я стал инфантофилом. Я вынужден скосить закрытые глаза вверх или в сторону, чтобы красная пещера на внутренней стороне моих век не воспламенилась от солнечного света. Звук проезжающих мимо машин словно говорит «тише, тише, тише». Солнце же, если хотя бы малая часть его диска попадает в поле зрения, оставляет на сетчатке синие и красные разводы, как если смотреть на лампочку.

– «Почему бы и нет»? А тогда почему бы и не нет? И что, это единственная причина, которую вы можете озвучить: «почему бы и нет»? – голос Ч.Т. удаляется, наполненный возмущением. И только храбрые удары антенны его телефона остаются где-то справа, на краю поля зрения. Меня направят в отделение экстренной медицинской помощи, или типа того, где меня будут держать до тех пор, пока я не соглашусь отвечать на вопросы, и потом, когда соглашусь, мне введут седативные; это будет стандартное приключение, но в обратном порядке: сначала путешествие, потом отбытие. Я на мгновение вспоминаю покойного Косгроува Уотта. Я думаю о гипофалангиальном\* психотерапевте, специалисте по утратам. Я думаю о маме, расставляющей по алфавиту консервы с супом в шкафчике над микроволновкой. О Его зонтике, свисающем с края тумбочки в прихожей дома директора школы. Я думаю о Джоне Н.Р. Уэйне, выигравшем в этом году турнир Что-за-Бургер; он стоит в маске и смотрит, как мы с Дональдом Гейтли выкапываем из земли голову моего отца. У меня почти не было сомнений в том, что Уэйн победит. У Венус Уильямс ранчо недалеко от Грин Вэлли; она может посетить финалы турнира для 18-летних. Завтра полуфинал, меня выпустят отсюда задолго до его начала: я верю дяде Чарльзу.

Сегодня почти наверняка победит Димфна\*\*, ему шестнадцать, но день рождения у него за две недели до 15-апрельского порога; и Димфна будет все еще уставший завтра в 0830, в то время как я, обколотый седативами, буду спать как каменный идол. Я никогда раньше не встречался с Димфной на турнирах, как никогда не играл звуковыми мячами для слепых, но я видел, как он с большим трудом справился с Петрополисом Каном в 1/16 финала, и знаю, что сделаю его.

\* *Прим. пер.* Неологизм Уоллеса, обозначает человека со слишком маленькими или отсутствующими пальцами.

\*\* *Прим. пер.* Отсылка к святой Димфне Ирландской, покровительнице всех психически больных.

Это начнется в больнице, в приемной, если Ч.Т. не приедет сразу вместе со скорой, или в комнате, где стены выложены зеленой плиткой, рядом с другой комнатой, с приборами-манипуляторами; или, учитывая, что это необычная машина скорой помощи: какой-нибудь доктор со своим небритым подбородком, с именем, вышитым курсивом на нагрудном кармане белого халата, – в кармане – целый набор ручек, – будет задавать вопросы, стоя сбоку от меня, спрашивать об этиологии и диагнозе, используя метод Сократа, все по порядку, шаг за шагом. Если верить Оксфордскому словарю (шестая редакция), существует девятнадцать неархаичных синонимов для слова «безответный», из них девять латинских и четыре саксонских. В финале я буду играть со Стайсом или Полипом. Возможно, на трибуне будет сидеть Венус Уильямс.

И обязательно какой-нибудь синий воротничок очевидно без лицензии врача, – помощник медсестры, с погрызенными ногтями, чувак из охраны больницы, уставший санитар-кубинец, который, обращаясь ко мне, будет говорить «ти» вместо «ты» – он вдруг заметит меня во всей этой суматохе, поймает то, что покажется ему моим взглядом, и спросит Ну чо, парень, давай, расскажи свою историю.



### Год Впитывающего Нижнего Белья “Depend”

Где эта женщина, что обещала прийти? Она обещала. Эрдеди думал, что к этому времени она уже придет. Он сидел и думал. Он сидел в зале. Когда он только начал ждать, окно было наполнено жёлтым светом и отбрасывало на пол пятно, но по мере того, как он ждал, пятно становилось бледнее и поверх него появилось другое пятно, от окна в другой стене. На одной из стальных полок, на той, где музыкальный центр, сидело насекомое. Оно выползло из дыры в колонке и залезло обратно. Темное насекомое с блестящим панцирем. Эрдеди наблюдал за ним. Пару раз он хотел встать, подойти, рассмотреть его, но боялся, что если подойдёт, то убьёт его, а он боялся его убивать. Он не хотел звонить женщине, которая обещала прийти, потому что если он займет линию и в этот самый момент позвонит женщина, он боялся, что она услышит короткие гудки и решит, что он не заинтересован в ее предложении, и разозлится и, может, отвезет куда-нибудь в другое место то, что она ему обещала.

Она обещала достать пачку марихуаны, 200 грамм необычайно хорошей марихуаны, за 1250 долларов США. До этого он пытался завязать с марихуаной где-то 70 или 80 раз. До того, как встретил женщину. Она не знала, что он пытался завязать. Он всегда держался неделю, или две недели, или, может, два дня, а потом все обдумывал и решал, что можно бы кайфануть еще, в последний раз. В самый-самый последний раз он находил нового человека, которому еще не успел сказать, что собирается бросить и что нельзя ни в коем случае, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах подгонять ему травку. Это надо сделать через третьих лиц, потому что он сказал всем знакомым диле-

рам, чтобы они не отвечали на его звонки. И третьим лицом должен быть кто-то совершенно новый, потому что каждый раз, как он закупался, он знал, что это самый последний раз, и говорил им об этом, и просил об услуге никогда не подгонять ему еще травы, никогда. И сам он никогда не просил об услуге тех, кому уже говорил, что завязал, потому что он был горд и добр, и не хотел ставить никого в такое противоречивое положение. Еще он считал, что становится стремным, когда дело доходит до дури, и боялся, что другие тоже увидят, какой он стремный. Он сидел и думал и ждал в неровном скрещении двух лучей света из двух разных окон. Раз или два он бросал взгляд на телефон. Насекомое скрылось в дыре в стальной балке, на которой крепилась полка.

Она обещала прийти в определенное время, и сейчас это время уже прошло. Наконец он сдался и набрал ее номер, используя только аудио, выслушал несколько гудков, и испугался, что слишком долго занимает линию, потом включился автоответчик, и в сообщении была ироническая поп-мелодия, ее голос и мужской голос, одновременно сказавшие «мы вам перезвоним», и это «мы» звучало так, словно они – пара, мужчина был чернокожим красавчиком из юридической школы, она – дизайнером, и он не оставил сообщение, потому что не хотел, чтобы она знала, как сильно он нуждается в дури. Он старался вести себя непринужденно. Она сказала, что знает парня там, за рекой, в Оллстоне, и этот парень продает высококачественную дурь в умеренных количествах, и он зевнул и сказал, ну что ж, может быть, хотя, знаешь, почему бы и нет, конечно же, это особый случай, я уж не помню, когда в последний раз курил. Она сказала, что он живет в трейлере, у него заячья губа, он держит змей, и у него нет телефона, и, в общем, он совсем не из тех, кого обычно называют приятными и привлекательными людьми, и все же этот парень из Оллстона часто продает дурь театрам в Кембридже, и у него есть свои постоянные, верные клиенты. Он сказал, что пытался сейчас вспомнить, когда в последний раз покупал дурь. Он сказал, что верит, что она сможет достать приличное количество, у него есть друзья, сказал он, и они недавно звонили и спрашивали, не сможет ли он подогнать чуток. У него был такой пунктик: он часто говорил, что ищет дурь в основном для друзей. И потом, если женщина не достанет дурь в срок, и он станет психовать, он мог бы сказать ей, что это все из-за друзей, которые психуют, и ему жаль беспокоить женщину из-за таких пустяков, но друзья психуют и беспокоят его, и он просто хотел узнать, что передать, чтобы они успокоились. Он ведь всего лишь посредник. Он мог бы сказать, что друзья дали деньги и теперь психовали, давили, звонили. Такая тактика бесполезна с этой женщиной, которая сказала, что придет к нему домой, потому что он еще не отдал ей 1250 долларов. Она не взяла деньги заранее. Она хорошо обеспечена. Она из обеспеченной семьи, сказала она, объясняя, почему живет в таком милом кондоминиуме, хотя работает художником-декоратором в компании при Кебриджском театре, в котором, кажется, играли только немецкие пьесы в мрачных, халтурных декорациях. Она не особо беспокоилась из-за денег, сказала, что сама оплатит поездку до Оллстона, чтобы узнать, сидит ли этот парень в своем трейлере, хотя и так была уверена, что в этот конкретный день он будет дома, и потом добавила, что Эрдеди просто возместит затраты на поездку, когда она привезет ему дурь. Из-

за этого соглашения, довольно невинного, он нервничал, поэтому старался выглядеть еще более невинно и непринужденно и сказал конечно, отлично, пофиг. Сейчас, вспоминая, он был уверен, что сказал «как скажешь», и теперь, ретроспективно, это его беспокоило, потому что могло прозвучать так, словно ему нет дела, совсем, и что если она забудет о сделке или забудет позвонить, он не расстроится. И все же, раз уж он принял решение купить марихуаны еще раз, то это было очень важно. Очень важно. Он вел себя слишком непринужденно с этой женщиной, надо было заставить ее взять 1250 долларов, напирая на вежливость, напирая на то, что не хочет доставлять ей финансовые неудобства из-за чего-то такого банального и не особо важного. Деньги создали бы чувство долга, и нужно было заставить почувствовать эту женщину обязанной, раз то, что она пообещала, что сделает, так его завело. Стоит ему оказаться на взводе, как это для него становится так важно, что он почему-то боится эту важность показать. Стоило попросить купить, – и он был обречен на некоторые шаблоны поведения. Насекомое вернулось. Оно вроде бы ничего не делало. Просто выползло из дыры в балке на самом краю стальной полки и сидело. Через какое-то время снова исчезло в дыре, и Эрдеди был уверен, что и там, в дыре, оно просто сидело и ничего не делало. Он чувствовал, что очень похож на это насекомое внутри балки, к которой прикручена полка, хотя и не был уверен, чем именно. Когда он решил купить марихуаны в последний раз, он был обречен на некоторые шаблоны поведения. Ему пришлось позвонить в агентство и сказать, что у него форс-мажор, и что он отправил и-мэйл на ТП\* своей коллеги и попросил прикрыть его до конца недели, потому что в течение следующих нескольких дней он будет вне зоны доступа из-за этого самого неотложного дела. Ему пришлось записать на автоответчик сообщение, в котором он говорил, что будет недоступен в течение нескольких дней. Ему пришлось прибратся в спальне, потому что когда он закинет дурью, он не будет выходить из комнаты, за исключением походов к холодильнику и в туалет, но даже эти «путешествия» будут очень быстрыми. Ему пришлось выбросить все пиво и спиртное, потому что если он выпьет и накурится одновременно, ему станет плохо, начнутся головокружения, а если у него будет алкоголь, он не может быть уверен, что не выпьет после того, как покурит. Ему пришлось пройтись по магазинам, запастись едой. Сейчас только один усик насекомого торчал из дырки в балке. Торчал, но не двигался. Ему пришлось купить газировки, печенья «Орео», хлеба, мяса для сэндвичей, майонеза, помидоров, M&M's, «Почти домашнее» печенье, мороженое, шоколадный торт «Пэпперидж фарм», четыре банки жидкого шоколада (их он бросил в морозилку, чтобы потом есть шоколад ложкой). Ему пришлось заказать картриджи с фильмами на сайте «Inter-Lace entertainment outlet». Ему пришлось купить антациды, чтобы бороться с дискомфортом, который возникнет после того, как он съест все, что купил. Ему пришлось купить новый бонг, потому что каждый раз, когда он докуривал свою последнюю дозу марихуаны, он думал, что момент настал, пора завязывать, ему ведь это даже уже не нравится, все, точка, хватит прятаться, хватит сваливать работу на коллег и записывать всякие сообщения на автоответчик

---

\* Прим. пер. ТП – «телепьютер» – неологизм Уоллеса.

и отгонять машину подальше от дома и закрывать окна и задергивать шторы и жалюзи и жить внутри системы векторов между телепьютером в спальне, холодильнике и туалетом; и он хватал бонг, заворачивал в несколько пакетов и выбрасывал. Его холодильник производил лед – маленькие, мутные, дымчатые кубики, он их любил, когда курил дома, он всегда пил холодную газировку и ледяную воду. От одной мысли об этом его язык разбух. Он посмотрел на телефон и на часы. Он посмотрел на окна, но не на кроны и не на шоссе за окнами. Он уже пропылесосил жалюзи и шторы, он был готов их задернуть. Как придет та женщина, что обещала прийти, он тут же их задернет. Он вдруг подумал, что исчезнет в дыре в балке внутри себя, в той самой балке, которая поддерживает что-то внутри него. Он не знал точно, что именно находится внутри, и не был готов предпринимать усилия, которые требовались, чтобы искать ответ на этот вопрос. Прошло уже почти три часа с того момента, когда должна была прийти женщина, которая обещала прийти. Консультант, Ранди, через «а», с усами, как у офицера канадской полиции, сказал ему два года назад, когда он проходил амбулаторное лечение, что он (Эрдеди) не предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы исключить вещества из своей жизни. Ему пришлось купить новый бонг в магазине Богарта на площади Портер, в Кембридже, потому что каждый раз, когда он докуривал все вещества, он всегда выбрасывал все бонги и трубки, латунные фильтры, бумажки для косяков, зажимы, зажигалки, глазные капли и слабительное «Пепто-Бисмол», печенье и мороженое, чтобы избавиться от всех будущих соблазнов. Он всегда чувствовал подъем и твердую решимость после того, как выбрасывал все барахло. Этим утром он купил новый бонг и свежие припасы, вернулся домой в полной готовности задолго до того, как придет женщина, которая обещала прийти. Он подумал о новом бонге и новой упаковочке латунных фильтров в пакете из магазина Богарта, на кухонном столе, в залитой солнцем кухне, и не смог вспомнить, какого цвета бонг. В прошлый раз бонг был оранжевый, а до этого – темно-розовый; дно его, впрочем, стало грязным уже через четыре дня из-за канифоли. Он не мог вспомнить цвет последнего бонга. Хотел подняться и посмотреть, но решил, что эти навязчивые и лишние телодвижения могут испортить атмосферу непринужденного покоя, в котором он нуждался, пока ждал, возбужденный, но неподвижный, женщину, которую он встретил на лекции по дизайну, женщину, с которой у него дважды был секс. Он раздумывал над тем, красива ли эта женщина. Когда он делал запасы для своего последнего «марихуанового отпуска», он купил вазелин. Обкурившись, он имел привычку долго мастурбировать, вне зависимости от того, будет ли у него возможность заняться сексом или нет; обкурившись, он всегда предпочитал мастурбацию сексу, и вазелин позволял ему пережить период накура без болезненных ссадин и натертостей. Он колебался, раздумывал, стоит ли сходить, посмотреть цвет нового бонга, потому что знал, что путь на кухню будет пролегать мимо телефонной консоли, и он не хотел поддаваться этому соблазну – позвонить женщине, которая обещала прийти, еще раз, потому что не хотел чувствовать себя стремным из-за того, что ее беспокоит, хотя сам же до этого вел себя так, словно ему все равно; и еще боялся, что несколько бессловесных записей на ее автоответчике будут выглядеть еще более стрем-

ными; и еще беспокоился из-за того, что, возможно, займет линию именно в тот момент, когда она звонит ему, а она точно позвонит. Он решил добавить услугу «Ожидание Звонка» к стандартному набору услуг оператора связи, но потом вспомнил, что раз уж это абсолютно точно последний раз, когда он потекает своей, как назвал ее Ранди, через «а», «зависимости», такой же хищной, как и чистый алкоголизм, в услуге «Ожидание Звонка» уже не будет никакой необходимости, поскольку такая ситуация уже не повторится. Эти мысли его почти разозлили. Он сидел в кресле на свету, он сфокусировался на окружении. Насекомого не было видно. Каждый «тик» его настольных часов состоял из трех более мелких «тиков», обозначая, как ему казалось, подготовку, шаг и перегруппировку. Он чувствовал, как внутри растет отвращение к самому себе за то, что он сидит тут и беспокойно ждет, когда ему доставят то, что уже давно перестало его радовать. Сейчас он даже не мог объяснить себе, за что любит дурь. Из-за дури у него пересыхало во рту, и глаза его высыхали и краснели, и лицо проседало, а он ненавидел, когда такое случалось с лицом; как если бы марихуана разъедала его мимические мышцы, и он знал и стеснялся того, что происходит с лицом, когда он дует, поэтому уже давным-давно курил в одиночестве. Он даже не понимал, что именно нравится ему в марихуане. Дунув, он старался не ходить в людные места, дурь делала его застенчивым. У него начинался болезненный плеврит, если он курил без остановки на протяжении двух дней, перед телевизором в спальне. Дурь взвинчивала его, мысли словно торчали из головы, разбегались в разные стороны; он восхищенно, взглядом слабоумного ребенка смотрел развлекательные картриджи – когда он в рамках подготовки к «марихуановому отпуску» закупался картриджами, то старался выбирать те, где все взрывалось и врезалось, и он был уверен, что какой-нибудь специалист-по-неприятным-фактам, типа Ранди, сказал бы, что любовь к такого рода развлечениям – это плохой знак. Он медленно оттянул галстук, пока собирал в кулак свои мысли, волю, самосознание и самоубеждение, что когда придет женщина, – а она придет, – это будет его последний марихуановый угар. Он просто выкурит так много и так быстро, что ему станет плохо, и память об этом ощущении будет такой неприятной, что, выкурив всю дурь, он больше никогда не захочет повторить этот опыт. Он сделает все, чтобы создать у себя только неприятные ассоциации с этим последним угаром. Дурь пугала его. Из-за нее он боялся. Не то чтобы он боялся дури – просто после дури он боялся всего вокруг. Он давным-давно перестал чувствовать освобождение, облегчение или кайф. В этот последний раз он скурит все 200 грамм – 120 грамм очищенной равно 200 неочищенной – за четыре дня, т.е. больше унции в день, экономично утрамбовывая всю дозу в один девственно чистый бонг; невероятное, безумное количество в день, он поставил себе цель и рассматривал такой подход одновременно как покаяние и как способ скорректировать свое поведение, он каждый день будет выдувать по тридцать грамм высококачественной дури, начиная с утра, едва проснувшись, попив ледяной воды, чтобы отклеить прилипший к небу язык и принять антацид – в среднем 200-300 длинных затяжек в день, безумная цифра, к которой он стремился специально, чтобы сделать процесс неприятным, и он поставил себе цель – курить без остановки, даже если марихуана будет хороша настолько, насколько

утверждает женщина, он все равно забьет пять раз, а потом желание пропадет. Но он себя заставит, сделает передышку минимум на час. Но он все равно сделает это, заставит себя сделать. Он скурит все подчистую, даже если не будет желания. Даже если затошнит и закружится голова. Он приложит все свои упорство, волю и дисциплину, чтобы сделать процесс курения настолько неприятным, низким и отвратительным, что это позволит ему изменить свою привычку, бросить, и он никогда не захочет повторить этот опыт, потому что память об этих безумных четырех днях будет намертво впечатана в его мозг. Он исцелит себя через крайность. Он подумал, что женщина, когда она придет, возможно, захочет дунуть щепотку из этих 200 грамм с ним, потусить, поваляться, послушать что-нибудь из его впечатляющей коллекции записей Тито Пуэнте, и, вероятно, захочет перепихнуться. Он никогда раньше не занимался сексом под марихуаной. Честно говоря, мысль об этом казалась отвратительной. Два пересохших рта тыкаются друг в друга, изображая поцелуй, в то время как его мысли заплетаются вокруг самих себя, как змеи на палке, пока он дергается и сухо кряхтит на ней, его глаза опухли и покраснели, его лицо перекосило так, что вялые складки безвольно свисают с него и касаются ее оплывших складок, ее лицо тоже перекосило, и оно мотается туда-сюда на подушке, пока она целует его сухим ртом. Одна мысль об этом была отвратительна. Он решил, что будет лучше, если она с порядочного расстояния бросит ему то, что обещала, а он бросит ей 1250 долларов крупными купюрами и скажет, чтоб на фиг валила отсюда. Или лучше «на хер», а не «на фиг». Он будет так груб, что память о его хамстве, о ее оскорбленном выражении лица в будущем поможет ему избежать соблазна позвонить ей вновь и попросить достать еще дури.

Он никогда еще не был так взвинчен в ожидании прихода женщины, которую не хотел видеть. Он отлично помнил крайнюю женщину, которую вовлекал в свой очередной последний отпуск с марихуаной и опущенными жалюзи. Она занималась чем-то, что называется «апроприация», на деле это означало, что она копирует и приукрашивает чужие картины и затем продает их в престижных галереях на Мальборо-стрит. У нее был свой «манифест художника», содержащий кучу радикально-феминистских идей. Он согласился взять одну из ее картин, из тех, что поменьше размером. Сейчас эта картина занимала полстены над кроватью и изображала знаменитую киноактрису, имя которой ему всегда было трудно вспомнить, и менее знаменитого киноактера, которые сплелись в объятиях в сцене из старого известного фильма, романтической сцене, скопированной из учебника кино, в несколько раз увеличенной и куда более высокопарной, и расписанной непристойностями ярко-красными буквами. Художница была сексуальна, но не красива, в то время как та женщина, которую он ждал сейчас с таким беспокойством (хоть и не хотел ее видеть), была красива, ее окружал сухой, увядающий кембриджский дух, благодаря которому она выглядела красиво, но не сексуально. Он убедил художницу, что раньше он сидел на спидах, сказал, что торчит на внутривенном гидрохлориде метамфетамина\*, и даже описал омерзительный вкус гидрохлорида, который появляется во рту

---

\* Гидрохлорид метамфетамина, он же кристаллический мет.

сразу же после введения дозы. Он хорошо изучил этот вопрос. Он убедил художницу, что марихуана помогает ему не сорваться и не перейти на более жесткую наркоту, с которой у него действительно есть проблемы, поэтому если он чересчур нервничает из-за той травки, которую она пообещала достать, то это только потому, что он героически сражается с гораздо более мрачными и глубокими потребностями, и нуждается в ее помощи. Он точно не помнил, когда и в какой форме выдал ей все это. Не то чтобы он прям вот так сел напротив нее и нагло врал в лицо, нет, он скорее создал легенду, которую холил и лелеял, и позволил ей обрести собственную жизнь. Он снова увидел насекомое. Оно сидело на полке рядом с цифровым эквалайзером. На самом деле насекомое, возможно, и не уползло в дыру в балке. Возможно, он просто не замечал его, или освещение из двух окон изменилось, а может, дело в визуальном контексте. Балка выпирала из стены и представляла собой треугольник из неотшлифованной стали с отверстиями для полок. На металлических полках стоял музыкальный центр, они были покрашены в темный «индустриальный» зеленый цвет и вообще-то предназначались для хранения консервов. Дополнительные кухонные полки, вот их предназначение. Насекомое сидело в темном, блестящем панцире неподвижно, словно копило силы, оно было похоже на корпус автомобиля, из которого на время извлекли двигатель. У него был темный, блестящий панцирь и усики, которые торчали, но не двигались. Эрдеди захотел в туалет. Последняя весточка от художницы, с которой у него был секс и которая в процессе соития распыляла что-то вроде парфюма из пульверизатора, – она сжимала его в левой руке, пока лежала под Эрдеди, издавая широкий диапазон звуков и распыляя парфюм в воздухе так, что он (Эрдеди) чувствовал, как холодный туман ложится на спину и плечи, ощущал прохладу и отвращение, – так вот, последней весточкой от нее, после того как он начал прятаться от нее с марихуаной (которую она же ему и подогнала), была присланная по и-мэйлу открытка, стилизованное фото с изображением коврика из грубой пластиковой травы с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ», и рядом еще одно – хвастливое – фото, на нем художница в своей галерее Бэк-Бэй, и между двумя этими фотографиями знак неравенства, ну, то есть знак равенства, перечеркнутый диагональной чертой, а так же непристойное слово, которое, как он предположил, адресовалось ему, написанное прописными буквами красным карандашом внизу открытки, с множеством восклицательных знаков. Она чувствовала себя оскорбленной, ведь он видел ее ежедневно на протяжении десяти дней, а потом, когда она наконец добыла 50 грамм генетически модифицированной гидропонной марихуаны, он сказал, что она спасла ему жизнь и что он благодарен, и что друзья, которым он обещал достать дури, тоже благодарны, и что теперь ей придется уйти, потому что у него назначена встреча, и ему надо отчаливать, но он, конечно же, без сомнений, позвонит ей сегодня же, чуть позже, и они разделят влажный поцелуй, и она сказала, что буквально чувствует, как его сердце бьется под пальто, и уехала в своей ржавой шумной машине, и он вышел на улицу и отогнал свою машину в подземный гараж в нескольких кварталах от дома, и прибежал назад, закрыл чистые жалюзи и задернул шторы, и сменил сообщение на автоответчике на то, в котором говорил о неотложном деле и об отъезде из города, и после этого закрыл жалюзи в спальне

и достал новенький розовый бонг из пакета из магазина Богарта, и исчез на три дня, и проигнорировал больше двадцати голосовых сообщений, протоколов и электронных писем, в которых люди выражали озабоченность, вызванную записью на его автоответчике, и так и не позвонил ей. Он надеялся, что она подумает, будто он снова перешел на гидрохлорид метамфетамина и просто не хочет, чтобы она видела, как он скатывается в ад химической зависимости. На самом деле он не позвонил ей потому, что опять решил, будто эти 50 грамм смолянистой дури, настолько забористой, что на второй день у него началась паническая атака, – такая сильная и парализующая, что пришлось помочиться в памятную керамическую кружку с эмблемой Университета Тафтса, так сильно он боялся покинуть спальню, – так вот, он решил, что эти 50 грамм будут его последней дозой, и, покончив с ними, он полностью разорвет все связи со всеми возможными будущими источниками соблазна, естественно, включая художницу, ведь именно она принесла ему дурь и, как он помнил, пришла ровно в то время, на которое они договорились. С улицы донесся звук – мусор высыпался из бака в кузов мусоровоза. Стыд из-за того, что она со своей стороны могла принять за типичное низкое фаллоцентрическое отношение к ней, только помогал ему ее избегать. Ну, не совсем стыд. Скорее ему было некомфортно думать об этом. Ему пришлось дважды стирать постельное белье, чтобы избавиться от запаха ее парфюма. Он направился в туалет, прикладывая все усилия, чтобы не смотреть ни на насекомое, сидящее на полке слева, ни на телефонную консоль на лакированном рабочем столе справа. Он старался не трогать ни то, ни другое. Где эта женщина, что обещала прийти? Новый бонг в богартовском пакете был оранжевого цвета, а это значило, что, возможно, он что-то перепутал, когда подумал, будто предыдущий его бонг был оранжевого цвета. Насыщенный осенний оранжевый цвет приобретал оттенки цитрусового, когда на бонг падал послеполуденный свет из окна над кухонной раковиной. Мундштук и чаша бонга были изготовлены из неотшлифованной нержавеющей стали, зернистой и некрасивой. Высота бонга – пол метра, в основании – мягкая фальшивая замша. Оранжевый пластик был весьма прочный, на трубке, с противоположной стороны мундштука, – отверстие, неровное и сделанное очень грубо, так, что по краям торчали острые куски пластика, как осколки, Эрдеди вполне мог порезать о них большой палец в процессе курения, что, впрочем, показалось ему вполне уместным, эти раны, решил он, будут частью его само-наказания, которое он устроит себе, когда женщина принесет дурь и исчезнет. Он оставил дверь в ванную открытой, чтобы, если вдруг зазвонит телефон или домофон, он мог услышать. В ванной к горлу у него внезапно подступил ком, и он громко заплакал, рыдания его, впрочем, резко прекратились через две-три секунды, и больше он не мог выдавить ни слезинки. Прошло уже четыре часа с того момента, как обещала прийти женщина. Был ли он в ванной или в кресле, рядом с окном и с телефонной консолью и с насекомым и с окном, из которого на пол падал прямоугольник света, когда только начал ждать? Свет из окна падал под все более острым углом. Прямоугольник превратился в параллелограмм. Свет из юго-западного окна был прямой и начинал краснеть. Чуть ранее он думал, что ему нужно в туалет, но до сих пор не смог заставить себя пойти. Он

попытался вставить всю кучу картриджей с фильмами в приемник, затем включил огромный телепьютер. В зеркале над телепьютером он видел фрагмент картины художницы. Он прицелился пультом в телепьютер так, словно это оружие, и убавил звук до конца. Он сел на край кровати и, уперев локти в колени, стал просматривать картриджи. Каждый картридж загружался в дисковод с насекомым жужжанием, Эрдеди их просматривал. Но даже телепьютер не помогал ему отвлечься, потому что он был не способен задержать свое внимание на одном картридже дольше чем на несколько секунд. Как только он понимал, что за фильм на картридже, его охватывало беспокойство, он думал, что на другом картридже есть что-то интересней. Он осознал, что у него будет еще уйма времени, чтобы насладиться всеми картриджами, и еще, подумав, понял, что эта его боязнь упустить нечто более развлекательное не имеет никакого смысла. Экран висел на стене, большой, размером почти с половину картины художницы-феминистки. Еще какое-то время он щелкал пультом, просматривая картриджи. И тут – зазвонил телефон. Он вскочил на ноги и был уже рядом с консолью раньше, чем первый звонок успел замолчать, его переполняло то ли волнение, то ли облегчение, в руке он все еще сжимал пульт от телепьютера; но оказалось, что звонит всего лишь друг и коллега, и когда он понял, что голос на том конце провода не принадлежит той женщине (которая обещала принести ему то, что он хотел скурить и тем самым изгнать из своей жизни навсегда), от разочарования его чуть не стошнило; теперь, когда в крови светился и звенел ошибочно впрыснутый адреналин, он повесил трубку (чтобы освободить линию для женщины) так быстро, что был уверен – коллега решил, что либо Эрдеди на него за что-то злится, либо просто грубый. Еще он был очень расстроен из-за того, что ответил на звонок, несмотря на то, что до этого специально оставил запись на автоответчике, в которой сообщал, что у него срочное дело и в ближайшее время он будет недоступен, как раз на случай если коллега позвонит после того, как придет и уйдет женщина, и он задернет все шторы и окунется в «марихуановый угар», и он стоял у телефонной консоли и пытался решить, является ли риск того, что его коллега или кто-то из агентства может снова позвонить, достаточным оправданием того, чтобы поменять запись на автоответчике на новую, сказать на этот раз, что у него форс-мажор, и он уезжает сегодня вечером, а не днем; но потом он решил, что раз уж женщина точно обещала прийти, то лучше оставить запись как есть, ведь это будет означать, что он верит ей, и эта его вера каким-то образом усилит ее обещание. Мусоровоз тем временем ехал дальше по улице, опустошая мусорные баки. Эрдеди вернулся в кресло рядом с окном. В спальне все еще работали дисковод и телепьютер, и он видел сквозь дверной проем свет и мерцание экрана высокой четкости, и то, как темная комната подсвечивалась разными цветами, и некоторое время Эрдеди убивал время, угадывая по изменению цветовой гаммы и интенсивности света, какие именно сцены сейчас на невидимом экране. Кресло стояло спиной к окну. О том, чтобы почитать, ожидая марихуану, не могло быть и речи. Он подумал, не подрочить ли, но не стал. Он не столько отверг идею, сколько просто не отреагировал, и наблюдал, как она уплывает. Он подумал в общем о желаниях и идеях, за которыми наблюдал, но которым не следовал, задумался, как импульсы истощаются без выражения, иссыхают и сухо уплывают прочь, и на каком-то уровне почувствовал, что это как-то связано с ним, его обстоятельствами и тем, что – если этот изматывающий финальный угар, на который он решился, никак